

## «ЕГО ОДУШЕВЛЯЛ ПРИНЦИП СО ВСЕМИ И ДЛЯ ВСЕХ...»

*Прошедший год был годом 180-летия со дня рождения Николая Федорова (1829–1903), философа, идеи которого все более властно вторгаются в сознание наших современников и наверняка еще встанут перед необходимостью их осмысления глобализирующимся миром. Недаром, С. Булгаков писал о «Философии общего дела» Федорова, что «не пришло еще время для жизненного опознания этой мысли – пророку дано упреждать свое время». В год юбилея «Московского Сократа» прошли XII Международные научные чтения его памяти, которые впервые за всю их историю состоялись не только в Москве, но и на родине мыслителя в Рязанской области. В Российской государственной библиотеке открыт мемориальный комплекс, в Боровске, где одно время Федоров работал учителем, установлен первый памятник мыслителю, «рождением и жизнью которого», по словам эстетика и критика Серебряного века Акима Волынского, «оправдано тысячелетнее существование России».*

*Сегодня мы беседуем с философом, литературоведом Светланой Семеновой. В свое время именно она подготовила знаменитое издание «Сочинений» Федорова в серии «Философское наследие», которое произвело в 1982 году эффект разорвавшейся бомбы. В настоящее время при ее участии подготовлено уже полное собрание его сочинений. Светлана Семенова – известный исследователь русской и западной философии и литературы, автор многих книг и статей, в том числе о жизни, учении, судьбе идей Николая Федорова.*

**Вы бы хотели, чтобы когда-нибудь в далёком будущем Вас воскресили последователи Фёдорова?**

Во-первых, в самой формулировке Вашего вопроса сквозит характерное склонение, общее современным литераторам, берущимся за *федоровский* сюжет, художественное экспериментирование с идеями и проектами русского мыслителя. Каждый раз речь идет то ли об отдельных энтузиастах, то ли о некоей «партии», «секте», группе организованных ученых, «последователей Федорова», которые начинают опыты, одиночные и выборочные, по восстановлению ушедших из жизни. И в этот процесс подмешиваются страсти и борьба, диссонансы и дисгармонии нынешнего человека или текущего исторического времени. Тогда как, кстати, мало что было так неприемлемо для Федорова, как любое замкнутое сообщество, любая партия (*pars, partis*, некая горделиво-руководящая часть) – его одушевлял принцип «со всеми и для всех».

Воскресительное дело предполагает у Федорова другой эволюционный этап, другой уровень сознания, до которых род людской еще не дозрел-не доработался. Сейчас он, по диагнозу мыслителя, находится пока в состоянии несовершеннолетия: словно шальной подросток, весело, азартно, отчаянно, жестоко, с демоническими вывертами играет в свои разнообразные игры... Как органично в наш нынешний лексикон вошли *политические, общественные, экономические игроки*... И ваш вопрос предполагает, что в виртуальном будущем некие уже *воскресительные игроки* без спроса вытащат и воссоздадут меня из земного праха.

**Тогда уточните, пожалуйста, как видел сам Федоров дело воскрешения?**

Как «Божье веление и человеческое исполнение», как «теоантропоургию», соработничество Бога и человека в онтологическом деле радикальной борьбы со смертью, преображения человека и мира, входа в новый обоженный эон бытия. И мыслил Федоров этот синергический акт как вершину долгого творческого свершения, охватывающего всех землян. Этот акт включал в себя как регуляцию *внешнюю* – разрушительных сил природы – так и *внутреннюю*, преобразовательную работу человека над собой, на всех уровнях его естества, от умственно-сознательного, психического до физиологического, от *ментального* до *витального*... Я специально употребляю тут и выражения другого региона, тонко разработавшего в своем религиозном видении и практике структуру человеческого организма. Поскольку именно здесь, через несколько десятков лет после Федорова, появился Шри Ауробиндо, близкий ему по главному вектору мысли – наконец, и Восток в нем дозрел до цели преобразования Земли, до высшей ценности личности, достижения ею бессмертия... Кстати, одновременно с ним и Запад в лице Пьера Тейяра де Шардена присоединился к такой же активно-эволюционной и активно-христианской задаче, что и русская *срединная (сердцевинная) земля (heart land)*, породившая Федорова. *Три вестника* будущих путей мира – называю я их, прекрасно понимая, как мало и как мало адекватно они еще услышаны.

Воскрешение у Федорова в отличие от одномоментно-трансцендентного называется «имманентным» и должно стать реализацией Христова повеления ученикам: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте» (Мф. 10:8). Вспомним и Его призыв ко всем сынам и дочерям человеческим уподобляться Ему в делах Его на Земле. А обнимали они весь круг господства над стихийными, смертоносными началами мира после грехопадения: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин.14:12). Воскрешение разворачивается во времени и идет волнами – в прозрении тайновидца св. Иоанна есть намек на такой ступенчатый процесс, вносящий некоторое историческое поступание в эсхатологию. Вспомним 20 главу его «Откровения» о *воскресении первом праведников* и тысячелетнем их царствовании на Земле. В федоровской перспективе это можно понять как первоначальное восстановление того планетного авангарда, кто принял активно-христианский идеал, опознал себя орудием Божьей воли и решительно продвинулся в Ее осуществлении. Федоров рассматривал хилиастическое пророчество лишь как первый важнейший этап, предполагая неуклонную и всё ускоряющуюся *последовательность* в деле воскрешения и преображения, включающем в бессмертный, космически-творческий («*переход* с земли на другие миры») статус всех.

И наконец, конкретно отвечая на ваш первый вопрос, скажу: конечно, кому бы не хотелось из тех, кто чаёт «воскресения мертвых и жизни будущего века», оказаться в этом первом отряде. Сама я никак не могу дерзнуть стать его членом, не чувствую себя достойной такой избранной участи, и вполне радостно готова быть и среди последних в воскресении втором.

**Как вы относитесь к двум романам, обыгрывающим федоровские идеи – «Воскрешение Лазаря» Владимира Шарова и «Плерома» Михаила Попова?**

Что касается Владимира Шарова, то он прочно поселил фигуру и «идеи» Фёдорова фактически во все свои произведения, прямо утверждая и в своих статьях и интервью его как центральную фигуру – для понимания русской души, русской революции и культуры (что по сути верно, но совсем не в примитивном, дико-перевернутом шаровском смысле). Казалось бы, такая ответственная интуиция о ключевом значении Федорова должна была бы обратить писателя хоть к какому-то изучению его наследия, а что мы видим в его романах «До и во время» и «Воскрешение Лазаря»? Ошибка на ошибке, искажение на искажении, вплоть до наоборот, – какая-то глупая и гнусная подмена лица и мысли, кошмарный муляж... Скажете: как это вы голубушка-филолог, не чувствует особой пародийно-бурлескной, постмодернистской поэтики Шарова, игры с идеями и историческими лицами, с фантастически слепленными гроздьями образов и событий, раскрывающих, по мысли автора, неведомое для профанов их внутреннее, историософское сопряжение?.. Да, нет, вовсе не так – при всем отвращении от оскорбительной вивисекции дорогого тебе лица (и не его одного, достаточно вспомнить хотя бы Вл. Соловьева, каким он предстает в «До и во время»...), вполне допускаю такую художественную манеру донести свое видение вещей, законность фантазирования и нарочитого смещения фактов, гротесковой карикатуры на нечто тебе чуждое и, как кажется, вредное.

Но... откройте те же интервью Шарова, где он прямо вещает о содержании идей Федорова. И тут уж хватаешься за голову. Выясняется, наш *интеллектуальный* писатель толком и не читал его текстов, разве что туда-сюда бросал беглый взгляд, да звон слышал. Как вовсе не знает и не понимает основных идей русской религиозной, активно-христианской философии, родоначальником которой был Федоров (и прежде всего синергии Божественных и человеческих энергий в деле восхождения человека и мира к новой природе и всеобщность спасения) – резкой альтернативы коммунистическим идеалам и реальной большевистской истории. Как известно в этой истории реально торжествовали абсолютно анти-федоровские установки и принципы. Это и разделение целого народа на враждебные классы и группы с заявленным намерением некоторых просто уничтожить. Полыхали энергии ненависти, неродственности, убийства, невиданного обесценения человека, так легко шедшего в расход и распыл. Тут и анти-христианство новых идеологов, оголтелое разрушение «старого» быта и культа. Да и социалистическое строительство в его ударных пятилетках стало особой, частично превращенно-энтузиасмической, частично насильственной, формой вестернизации России, ее секуляризации, разрушения традиционного общества и его ценностей, столь дорогих мысли Федорова.

А Шаров сам верит в те нелепицы, на которых строит свою концепцию русской революции как некоего инобытия федоровского проекта. Якобы русский мыслитель предполагал Всеобщее дело без Бога. Вместо реального императива «братотворения» приписывается ему «идея перманентной войны». Перевод энергий ненависти и убийства в преобразовательную, солидарную деятельность, касающуюся всех и каждого, превращение армии в «естествоиспытательную силу», разумеется, тут же вносится по разряду троцкистских «трудовых армий». Регуляция природы, «внесение в нее воли и разума», начаток будущей ноосферной теории, оборачивается каким-то несуществующим у автора «Философии общего дела» фантастическим срытием гор и сравнением земли в единообразную равнину.

Глубокомысленный проект воскресительной «небесно-земледельческой культуры» предстает как варварское разрушение городов... Федоров, противник социализма и «секуляризации как профанации», заменял чреватый разверзанием братоубийственных страстей и утопических надежд вопрос о «богатстве и бедности» (можно ли смертного сделать счастливым насельником земного рая?!) вопросом о «жизни и смерти», могущем объединить всех, поголовно смертных. И он, носитель любовной доминанты, исключительно добровольных и благих средств достижения цели, предстает вдохновителем чекистов в их извращенных самооправданиях (мучаем, убиваем, протоколируем жизнь осужденных, дабы можно было их легче потом воскресить – дьявольский трюк!)...

А какой расхожий звон звучит из горла Шарова, когда он перебирает знаменитые фигуры из федоровской *семьи идей*. У него и Достоевский, воспринявший лишь в конце жизни «как бы за свои» изложенные ему идеи «неизвестного мыслителя», – буквально ученик Федорова. Как и Толстой, с кем Федоров был в жесточайшей полемике (и смех, и грех!). Безусловным федоровцем признается и Циолковский, космическая натурфилософия которого стоит на совсем других, не христианских и не персоналистских основаниях. И т.д. и т.п... Увы и увы! Невежество, поверхностная нахватанность, верность *одной, но пламенно* воспринятой схеме российской истории (эсхатологизм, стремление к упрощенчеству жизни и социума в виду некоего идеально-райского результата) обесценивают художественные изыски, гротесково-шоковые приемы писателя, впрочем, уже монотонно влачащиеся из романа в роман. Однако, не буду недооценивать «дела» Шарова: может быть, я тут непозволительно резка, но чудятся мне в нем упорные нашептывания «отца лжи» в данном случае на ушко потребителей «интеллектуальной» литературы – от них вся эта «умная» мешанина, вселенская смазь и взвесь расходится и шире, запыливая и запудривая более массовые мозги...

Роман Михаила Попова «Плерома» – достаточно чистая по жанру антиутопия. В результате открытия источника новой неистощимой энергии земляне обретают огромную материальную, технологическую мощь, включая возможность возвращать умерших к жизни, но мир при этом внезапно переходит в необычное состояние (плотное марево закрывает небо, царит непрерывный ровный, бессолнечный свет, ночь как таковая исчезает, повсеместно воцаряется приятный, ровный климат...). Воскрешение производится по одному рецепту. Отыскивается хотя бы одна клеточка умершего, по ней он восстанавливается (клонировается). Затем в особом реабилитационном центре (лазарете) проходит своего рода курс постепенной самоидентификации: через оставшиеся документы и бумаги, через общение с еще живыми или воскрешенными близкими, в него вкладывают память о себе, знакомят его с новыми условиями существования. Интересный тут момент, кстати, сюжетообразующий в романе: человек, преступно виновный перед только что воскрешенным, пытается путем общения с ним получить себе прощение, снять с души тяжкий груз прежнего греха.

Масса несовместимых с федоровской идеей моментов: самоуправная, «демонически» распоясавшаяся наука, оторванная от нравственно-религиозных императивов, нет любви и солидарности между людьми, в воскрешении забывается главное – возвращение носителя индивидуального самосознания (того, что Федоров называл «лучевыми образами» умерших, а современный белорусский учёный А.К. Манеев – неэнтропийным «биопси́полем», сохраняющимся после смерти, а во всех религиозных

представлениях – бессмертной душой). И сразу же бросается в глаза еще один фундаментальный ущерб этой *операции*: восстановление не включает в себя обязательного для христианской эсхатологии, в том числе для Федорова – преобразования воскресенного, придания ему нового уровня сознания и функционирования организма («сеется тело душевное, восстает тело духовное», несущее в себе «дух животворящий» – 1 Кор. 15:44,45)). Воскрешенные выходят в то же, прежнее свое бытие, со всеми его страстишками, соперничеством, ленью, скукой и депрессией, причем последняя многократно умножается, давя своей нескончаемостью. К общественно-полезному, воскресительному труду (поиск частиц умерших, родовые исследования, разыскание своего прошлого) принуждают порционной выдачей желанных хронометров, позволяющих как-то ориентироваться во временной неразличимости вечного матового дня, да разве что местом в очереди на свидание с воскресенными поп-идолами.

Одним словом, действительно, к чему такое воскрешение, коли нет прорыва в природе человека и ценностях нового бытия. И наиболее непримиримые тщетно пытаются, и не раз, добровольно уйти в небытие, но, увы, такая возможность у них принципиально отнята – своего рода адский кошмар! И тогда всё же некий комплот этих резистантов, используя новые открытия, устраивает конец света... Его предвестиями и начавшимся крахом «плеромы» эффектно завершается этот роман, полный ядовито насмешливых сцен над реализующимся «блаженством» вечной жизни. Конечно, всё это мимо настоящей федоровской, активно-христианской идеи, но вполне может быть прочитано как отрицательный опыт осуществления изначально глубоко дефектного варианта. Ребятунки, талантливые наши выпускники Лит. института, берясь за тему, хорошо бы ее предварительно поглубже изучить – ну а ежели изначально задумано для априорного ее ниспровержения, тогда, действительно, лучше довольствоваться в пол-уха втянутыми «умными» толками и побольше расцветить свою сбитую набекрень малую осведомленность эффектным фантазированием...

**Может ли быть плодотворным художественное обыгрывание чьих-либо философских идей, литературно-метафизическое моделирование? Или это неизбежно приводит к профанации?**

Да, может быть плодотворным, если берущийся за это художник честно вник в суть этих идей или внутренне им близок, даже не изучая их во всем многообразии и значащих подробностях. Таким был в случае с автором «Философии общего дела» Андрей Платонов – он мыслил и чувствовал на одной душевной, ценностной волне с Федоровым. Конечно, в его ранний художественный мир врываются смущения яростного революционного времени. Рисовал он и скрежещающие стыки сокровенных чаяний и суррогатов, занесенных классовой доктриной в сознание и действия замороженного низового русского человека. Как и вышел к прозрачному, *идеальному* выражению (через образ «душевного бедняка» и прежде всего ребенка) своей «идеи жизни», тех чувств и реакций, от которых только и может отправляться *федоровский* выбор рода людского. Тот же Шаров, декларируя собственную творческую облученность платоновским миром, увы, лишен главного: сердечного чувства и ума, заветных верований Платонова...

Впрочем, и профанация, как в романах Шарова и Попова, в разной степени имеет свой смысл, обнаруживая грубые деформации, которые может

принять *идея* в широком сознании, демонстрируя опробование разного рода фобий, с нею связанных. Так, в фантастическом триллере «Возмущение праха» (1996) Наля Подольского это и принудительное воскрешение, и радикальное омоложение с шансом выборочного бессмертия для тех, кто обладает деньгами и властью, и зловещие криминальные варианты (реанимация убитых на время для допроса)...

Хотелось бы отметить редкие попытки светлого проектирования грядущего, вставшего на воскресительный путь, такие как фантастический роман «Феникс» (1988) Светланы Ягуповой, где есть впечатляющие прозрения, касающиеся новой, преображенной природы сознательных, чувствующих существ. Или повести и рассказы саратовского писателя-фантаста и мыслителя федоровской ориентации Олега Лукьянова. Присущая ему умная ясность мировоззрения, пластический талант позволили живописно и мягко-ненавязчиво явить пошлость и гибельность *антифедоровских* вариантов устройства жизни, будь то изоциентно-потребительская, гедонистическая или игровая, бесцелевая цивилизация...

**А как вы лично относитесь к клонированию человека, ведь именно на нем наши писатели нередко основывают свои федоровские антиутопии?**

Как вы думаете, кто первым дал философское, точнее богословское и даже мистическое, обоснование того, из чего через столетия выросла идея, а затем и первые, пока грубо-топорные подходы к практике клонирования? Так вот это были первые христианские эсхатологии, те что пытались обосновать самую суть новой христианской веры в воскресение во плоти – перед лицом издававшегося над таким безумным абсурдом «умным и разумным» античным миром. Свт. Григорий Нисский, автор самой цельной в патристике эсхатологической системы, обосновывая возможность восстановления телесного облика умершего, бесследно рассеявшегося в мире, высказывал мысль: душа, т.е. формообразующий принцип, «эйдос», «логос» тела отмечает каждую его частичку своей печатью, и в момент воскресения она их опознает и собирает вместе. Тут нам важна интуиция отца Церкви, что каждая клеточка тела несет уникальную отметину целого организма, говоря современным языком, содержит всю генетическую о нем информацию. Любящие души во все времена тоже как бы смутно предчувствовали будущую научную истину: вспомним, все эти медальончики с какой-нибудь прядью волос дорогого человека на шее или в заветной шкатулочке. А в наши дни начинают основывать банки генетических данных, хранящих каплю крови, кусочек кожи, волосы...

Но отчего что-то нас так коробит, протестует в нас против идеи клонирования человека и ее реализации в воскресительных целях? Пока еще столь топорно и на некоторое время клонировав лишь бессловесные твари, наука не может ответить на вопрос, вернулось ли к той же овечке Долли, условно говоря, ее «я». А это самый важный вопрос для человека, и на него можно будет ответить только с первым опытом клонирования существа разумного. В любом случае в генетическую копию надо возвращать уникальное самосознание оригинала, его «биопсиполе», его душу, не говоря уже о тонких операциях с расширением сознания воскрешенного, с преображением самой системы функционирования его организма. А пока больше всего ужасают легионы «шварцнеггеров», мультипликация

бесчисленных «однойцевых близнецов», подвергающих оскорбительному осмеянию высшую божественную ценность в бытии – уникальную личность.

Я лично принимаю клонирование умершего человека и тех, кто вынужден пока покинуть этот мир, *идущих на смерть*, *morituri*, только в единственном экземпляре. Воскрешение – ответственный процесс ответственных существ, и действовать он будет в своей системе благодетельных запретов. Даже наш «безумный, безумный, безумный мир» со своей сложнейшей техносферой ведь в целом с ней управляется той же системой разумных ограничительных правил – не едут же машины и не летят самолеты друг на друга! Надежда, в случае злоупотреблений, есть: слава Богу, невозможно клонировать *душу* – вот это было бы действительно страшно. А если вдуматься, то воскресительный клон и может быть лишь единственным – ибо на него есть только одно самосознание и одна душа, и множественное клонирование отдельных органов или целой физической оболочки – разве что резервный вариант, «запасные шкуры» на случай некоей катастрофы, которую еще не научились радикально предотвращать...

**Если воскрешение было бы технически осуществимо, имели ли бы мы нравственное право воскрешать тех, кто не давал на это согласие?**

А имеем ли мы право порождать в наш совсем не такой уж *белый* свет детей, выпускать новые жизни на возможные страдания и неизбежную смерть, не спросив их? Да, рожденные, скажете, имеют выход: *возвратить свой билет обратно*, добровольно покончить со своим ставшим невыносимым существованием. Но что ждет их за этим решительно-отчаянным жестом или всех нас после неизбежной естественной смерти? Знаем ли мы это точно? Полное небытие или томительное существование теней, как полагали древние греки, или мытарства души, отлученной от тела... Воскрешение – это своего рода новое рождение, причем в жизнь высшую, на новом уровне сознания и телесной *физики*, где дух уже управляет материей, разумеется, при условии преемственности нашего преображаемого «я» в этой чудесной метаморфозе. Это – встреча с Творцом, с дорогими близкими и дальними, выход в эмпатическое общение с существами и вещами бесконечного мира, в жизнь вечную, деятельно-творческую... Воскрешенным дается возможность обзреть всё это, прочувствовать и проникнуться новым строем бытия. И если при этом найдутся те, кто упорствует в своей жажде полного персонального *ничто*, то, им, разумеется, в царстве добровольности и свободы такой исход никак не может быть закрыт. (Кстати, как потенциальных детей до их рождения и знакомства с «условиями человеческого существования», и мертвых до их воскрешения не спросишь об их желании вновь жить или не жить.) Однако, на мой взгляд, выбор небытия и логически, и сверхлогически, и экзистенциально, и субстанциально нелеп во всецело обоженном мире, где «будет Бог всяческая во всем» (1 Кор. 15:28). Где, согласно с наиболее точной и глубокой линией христианской мысли, с традицией апокатастасиса (от Климента Александрийского, Оригена, свт. Григория Нисского до Федорова, Вл. Соловьева, Н. Лосского, С. Булгакова, Н. Бердяева...) и «сатана прощается». Для того, кто по своей первоначальной природе был светозарным ангелом, нет принципиальных запретов для возвращения в нее. Как и для всех, включая самых страшных грешников и злодеев, открывается путь «десатанизации», самоискупления и очищения в «разумном огне», «духовной бане»...

**Вы допускаете, что человек всеми силами своей души может быть устремлен к небытию? Нет ли в состоянии небытия особой прелести?**

Сейчас, конечно, может, и еще как, имея в виду некую тайную душевную складочку людей христианского региона (как бы массово он уже ни отошел от религии). На мой взгляд, в этой складочке сознательно или бессознательно залегают устрашения катехизической буквы о Царствии Небесном, что держится напряжением двух крайних полюсов: рая и ада. Ах, как в жуткой перспективе черного, адского бессмертия, на фоне геенских отсветов и мятущихся в невыразимой муке тел, отрадна холодная, умиротворяющая роса небытия: не чувствовать, не страдать, не быть! Вообще, в последние полтора столетия западный мир сбросил с себя стеснявшие его христианские одежды и облекся в просторно-секулярные не только в стремлении развить свои исследовательские и творческие способности, фактически на деле исполнить библейскую заповедь об *обладании землей*. Достичь этого было невозможно в окружении церковных запретов и разделительных межей: это не благочестиво, этого нельзя, здесь – угроза гибели! Душевная неудержимость этого устремления *вон* из церковной ограды, на мой взгляд, шла и из невыносимого внутреннего «террора ада». А до того тот же «эсхатологический терроризм» питал демонические, отчаянные неистовства «проклятых» поэтических бунтарей.

Вот вы, Михаил, в своей яркой статье «Благолепие тления. 180 лет философу Николаю Фёдорову», напечатанной в вашей газете, мыслите принципиально, как носитель определенного метафизического выбора, чёткой мировоззренческой ориентации. Вспомним тысячелетнюю «языческую» готовность распасться после смерти, уйти в бесчувственное странствие по родственно восчувствуемым стихиям и веществам природы. Тление тогда может видеться вполне *благолепно*, вовсе не в отталкивающих картинках смрада, могильной жижи и плотоядных червей, а в своем чистеньком финале: промытый череп, гладкие кости, легкий прах... Чеховский герой, иронизируя над приятием природной утилизации покойника (*умер, травинка из тебя выросла*), выразился так: «Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру, после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка». Вовсе не из стремления длить, как выражаетесь вы, свой «зооморфный» низ возникает чаяние бессмертия, его диктует «дорогая скрипка» – уникальное «я», личность, с органически ей присущим качеством трансцендирования и бесконечности...

**В чем же тогда секрет притягательности идеала «нирваны» для сотен миллионов буддистов?**

С буддистами всё не так просто. Понимать нирвану как ничто, небытие, что чаще всего происходит за пределами собственно буддийского ареала, по сути неверно. Буддисты (как и индуисты) метафизически сильны своим отвержением природно-смертного существования, дурной бесконечности рождений и смертей как неизменно сопряженных со страданием. Нирвана – это *угасание* (санскрит), но не *уничтожение*, угасание того огня жизни, который уязвляет желаниями, страстями и болью, освобождение от нескончаемой кармической цепи перевоплощений в мире, где «всё зло, всё эфемерность». Это выход в трансцендентное, непостижимое земным умом

состояние, чем-то напоминающее расхожие христианские, да и вообще универсально-религиозные представления о Царствии Небесном, о посмертном рае: вечный бессмертный покой... Не забудем и особое, как выражаются буддисты, нирваническое «качество вмещения» в себя всего, т.е. обретение особого божественного атрибута. Ну и постоянный эпитет к *нирване* – *блаженная* – некое качество *ощущения*, а разве оно мыслимо в абсолютном *ничто*?!

**В какой мере повлияли на Федорова идеи Эдуарда фон Гартмана, который, по сути, предложил негативный вариант «Общего дела» - коллективный суицид и уничтожение мироздания?**

Это всё равно, что спросить – со всеми понятными пропорциями и дистанциями – как сатана повлиял на Бога? Ну а для формалистов: основные работы Гартмана «Философия бессознательного» (1868) и «Феноменология нравственности» (1879), этот «религиозный» апофеоз предельного бытийственного пессимизма, демонического дерзания, появился, когда учение Федорова уже полностью сформировалось, и он разве что время от времени поминал Гартмана среди антиподов своего учения... Выводы Гартмана основаны на произвольной философской посылке, правда, питаемой реальным экзистенциальным отчаянием: слепая неразумная воля увлекла за собой в круговерть бытия светлую, разумную идею и тем самым обрекла ее на страдание в несовершенном мире. Сама эволюция должна привести порожденных ею сознательных существ к окончательному пониманию иррациональной неразумности универсума и к необходимости его возвращение в небытие – через акт общечеловеческого самоустранения из жизни... Сколько здесь подросткового рессантимана (злой обиды и счётов) к смертному бытию, к Богу, его якобы создавшему! А вот покажи и докажи такому нигилистическому бунтарю, что верна совсем другая картина мира (восходящей эволюции, роста духа в лоне материи, с конечной всецело обоженной персонализацией), типа той картины, что была обоснована религиозно и научно тем же Тейяром де Шарденом, и весь этот демонический комплекс вполне опадает, и наш Гартман очищается от своих сатанических вывертов...

**Ощущали вы когда-нибудь красоту зла? Что, по-вашему, привлекает читателей в «поэтике зла» Бодлера, Лотреамона иже с ними?**

В настоящем зле, будь то в жизни лагерь массового уничтожения, «дела» какого-нибудь Чикатило или романы де Сада (кстати, именно у него, особенно законченно в «120 днях Содома», впервые возникает образ концентрационного лагеря со всеми его атрибутами, от рвов и колючей проволоки до тотального истребления жертв – здесь, за пределами извращенного сладострастия), на мой взгляд, никакой красоты нет. А вот, скажем, бодлеровские «Цветы зла» вообще моя любимая поэтическая книга, чего я бы, правда, не сказала о *подростковых* «Песнях Мальдорора», хотя в свое время с интересом знакомилась с насыщенно-яростной ритмизованной прозой юного метафизического бунтаря Лотреамона (Изидора Дюкаса), бесследно сгинувшего уже в 24 года. У Бодлера я не вижу *поэтики зла* – да он берет человека в экстремах и противоречиях его смертной природы, в ее распяленности между «идеалом» и «сплином», той холодной скукой бесцельной и тленной жизни, «которая охотно превратила бы землю в груду

обломков / И в своем зевке проглотила мир». (Вспомним пушкинскую «Сцену из Фауста» от «Мне скучно, бес...» до «Всё утопить!») Но найдем ли мы у Бодлера сознательное служение такому nihil, холодную издёвку над жизнью и человеком, безбрежное экспериментирование над ними на потребу своей похоти и гнуса, что и есть черты зла? Разве что боль от изнанки земного бытия, страстную или меланхолическую поэтическую литанию над ним. И какой тугой, утонченный художественный корсет сжимает в лаконично-прекрасную форму переживание и мысль, вопль страдания и вызов гордости - уже своя победа над эфемерностью и трагедией!

**А как Георгий Гачев относился к «Общему делу» Федорова? Менялось ли это отношение на протяжении жизни?**

С того времени, как произошла моя встреча с мыслью Федорова и Гачев первым прочёл мой написанный на большом подъеме за лето 1974 года первый вариант книги о нем, Гоша (как мы ласково называли его в семье) сразу почувствовал грандиозность и острую оригинальность федоровского видения. В отличие от некоторых других философов, «совопросников века сего», лишь слышавших сомнительный «звон» и тут же сложивших себе высокомерное мнение о «юродивом мыслителе», Гачев, всё больше знакомясь с его учением, убеждался в его поразительной глубине и даже высшей правде. Пик его восхищения мыслью и стилем автора «Философии общего дела» относится к лету 1990 года, когда он перечитывал и аналитически продумывал главное, четырехчастное сочинение Николая Федоровича, имеющее длинное название (сократим его до: «Вопрос о братстве или родстве... Записка от неученых к ученым»). Его дневниковые записи этого времени об этом ярко свидетельствуют. Здесь же и заметки о мощном, одновременно благородно архаичном и новаторски-футуристичном слогом и стиле Федорова, соединяющем в едином микрокосме его умных периодов глубинные пласты самого редкого и драгоценного знания, научные прозрения и проекты с активно-христианским богословием, с поэтически-провидческим дыханием... (И этот энергически упругий, часто афористически сгущенный, чрезвычайно богатый и самобытный по своему регистру язык уж вовсе беспардонно и курьезно был как-то в публичном критическом упоении назван Шаровым «полной калькой с языка передовиц газеты “Правда”» – вот уж брякнул-припечатал для профанов!)

Федоровские идеи, воскресительная «оптика», активно-эволюционная и активно-христианская, были предметом наших постоянных с Гошей бесед: он умел и слушать, и соглашаться в целом и в деталях, когда его пронзала их логическая и сердечная, вещая глубина. Гачева отличала редкая интеллектуальная честность. Он никогда не шёл на поводу вылезавших *слишком человеческих* моментов – хотя наша со старшей дочерью Анастасией преданность наследию Николая Федоровича вызывала уколы ревности (мало ему внимания!) и вызывала ворчание по поводу нескончаемой *федоровской барицины*. К тому же по своей натуре мы его считали скорее «язычником», приемлющим природный, рождающе-смертный порядок бытия. Я ему как-то говорила, когда он, читая мою работу «Экзистенциальное сознание в литературе русского зарубежья», удивлялся на литераторов-эмигрантов, ударенных смертью: «Есть два типа людей, одни стоят на гениталиях, благодарно-восторженно чувствуют лицевую сторону природы: эрос, половую сласть, рождение детей... Другие – ее изнанку: смерть и гниение. Разные породы, ты, как Розанов, вперен в первое, в пол пророс твой жизненный

корень. А Газданов, Поплавский, Георгий Иванов, напротив, как все экзистенциальные писатели, в смерть глядят, ею заморожены, и в ее стальном свете всё для них обесцвечивается и обесценивается. Набоков – срединный тип, спасающийся созерцанием явлений мира и созданием нетленных художественных миров, тебе он недаром из них ближе всех» (запись в моем дневнике). Да, в Гачеве его «язычество» было светлого, жизнеутверждающего колорита. Я имею в виду его радостно-восхищенную распахнутость перед «изобилием бытия», его инстинктивной мудростью (впрочем, качества, необходимые для того же богочеловеческого дела). Не был он и невротиком смерти, вовсе не склонялся к экзистенциально-трагическому переживанию конца. И потому особенно ценно его восчувствие Федорова как глубинно русского и вместе планетарного мыслителя и пророка: «...Федоров есть максимальная эманация Русского Ума в человечество – с добытым им пророческим Словом. И осветилось всё и наперёд: цели и пути Будущего, и назад: смысл доселе протекшей истории и что ныне совершается. Как у Гоголя сказано: “вдруг стало видимо далеко во все концы света” – с вышки Федорова» (из напечатанной в 1996 г. статьи «Учение Н.Ф. Федорова – как творение Русского Логоса»).

**И в завершение – на чем полагаете вы свою надежду и уверенность в осуществимости в будущем, пусть и не столь скором, Общего дела?**

Разве что исключительно по пунктам и сухим тезисам. Первое. Главная моя надежда – объективно-эволюционная. Меня полностью убеждает эмпирический факт «цефализации», неуклонного роста мозга, утончения нервной системы на главной магистрали эволюции. Одним словом, видение ее как восходящей ко всё большему сознанию, к духу, к Богу. То есть явное наличие в ней «идеальной» программы, приводящей к созданию человека, на котором это восходящее движение остановиться не может. Более того должно продолжаться через него, во исполнение Божьей воли, приобретая сознательно-направленный характер. Второе. Онтологический ущерб природы человека, в котором оформилась личность, глубинно соотнесенная с Богом – наша конечность. Как она же – основной источник зла, трагизма, демонического вызова в *немыслимом* существе, сознающем свою смертность. Выход к новой бессмертной природе – в полном составе поколений–эволюционное, религиозное, нравственное требование. Безобразные синяки и болезненные шишки, неизбежно набитые на ложных путях, приведут к опаматованию и к отвороту от них, возможно, как предполагал апостол Павел, уже «как бы из огня» (1 Кор. 3:15), когда запольхает мир в рукотворной катастрофе. Третье. Слишком многое держится на человеке, чтобы он вместе с Божьим творением потерпел фиаско. И данные в нем большие: его пытливая, творческая природа, неудовлетворенность наличным, качество трансцендирования, выхода за свои пределы, дар воспринимать Божественное откровение (для верующих) или дар творить высший Божественный идеал (для неверующих)... И наконец, в ситуации исчерпанности цивилизационного проекта Нового времени, кризиса *человека потребляющего и играющего*, в поисках новых планетарных альтернатив нельзя обойти величайший проект, впервые созданный в духе всеобщего синтеза (религии, науки, искусства), в виду самой высшей, предельно благой цели, какую только можно себе помыслить. Надо только понимать, что настоящие развилки развития, выбора нового фундаментального выбора ценностей и цели происходят в *большом* историческом времени,

несоизмеримом, пока, увы, с нашим куцым индивидуальным *малым временем* жизни (70–90 лет). Но рефлекс такой высшей цели уже сейчас чрезвычайно ценен: он начнет оздоравливать психику и волю, укреплять в бытии, гармонизировать и отдельного человека, и человеческие сообщества.

*Беседовал Михаил Бойко*